

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ «ЕВРЕЙСКОГО ВЕКА»

На фоне нового обострения «еврейского вопроса», обречённого, кажется, на утомительную вечность, Юрий Слёзкин (выходец из России, ныне профессор Беркли) назвал свою книгу вызывающе: «The Jewish Century» (Princeton University Press, 2005). Быть может, ему надоело, что слово «еврей» ассоциируется лишь с Холокостом и кризисом на Ближнем Востоке. Он ищет ему другие смыслы и на иных путях. «Современная эра – еврейская эра, а 20-й век – еврейский век... Модернизация – это когда все становятся евреями... Век национализма – это когда каждая нация становится еврейской... Время евреев было также веком антисемитизма». Автор не боится полемики, он, что называется, идёт на грозу. Гигантский, как и подобает американскому профессору, материал, напор статистических данных может послужить «первоисточником» как для отъявленного еврейского националиста, так и для оголтелого антисемита. Как минимум, книга будоражит. С автором хочется соглашаться, противоречить, симпатизировать, скандалить. В книге четыре главы, из которых каждая могла бы послужить темой для диссертаций так же, как и для романов (евреи и другие кочевники, евреи и другие европейцы, евреи и русская революция, евреи и три Земли Обетованные). Разумеется, эти краткие заметки могут затронуть лишь одну-другую точку на поверхности айсберга ...

1. The Jewish century

Пафосу привычной оппозиции «аполлонического» и «дионисийского» наш автор противопоставляет оппозицию людей Аполлона и людей Меркурия. Если «аполлонийцы» (они же на досуге «дионисийцы») – земледельцы, воины, князья – короче, «местные», то «меркурианцы» – те, кто «не пасет стада, не возделывает землю, не живет мечом» – «пришлые». Их главный ресурс – «люди, а не природа». Их специальность – «иностранные дела», они суть «защитники мастерства, искусства и хитроумия», наследники Улисса. И дело даже не столько в том, что они «странники и скитальцы», сколько в том, что в пределах аграрного уклада они «чужие», и именно в качестве «чужих» («других») они только и могли заниматься тем, что для «аполлонийцев» было «табу» или не принято, но для общественной жизни необходимо – будь то денежные операции, врачевание или посредничество. Существование, нередко основанное на взаимном недоверии, презрении, иногда на гонении было, таким образом, взаимовыгодно.

Едва ли надо упоминать, что, лишь утратив историческую родину и перейдя на положение странников, евреи диаспоры оказались образцовыми людьми Меркурия. Религиозная и даже этническая коннотации слова «еврей» теряют у Слёзкина авторитет, уступая место функции: быть «чужими» со всеми вытекающими последствиями. Тем самым они встраиваются в длинный ряд этнических, религиозных и прочих переселенческих групп меркурианского толка.... Встречая на улицах Варанаси религиозных джайнов в белых одеждах, с метёлочкой, чтобы не раздавить букашку, я и не подозревала, что в диаспоре они преуспели в банковских операциях, а «по объёму международной торговли алмазами уступают только евреям»; что бомбейские парсы-зороастрийцы «стали видными финансистами... Британской Индии». («Ницше не знал, – заметил не без ехидства парсийский поэт Адил Джуссавала, – что сверхчеловек Заратустра приходился

евреям родным братом»; а ныне самую большую меркурианскую общину составляют заокеанские китайцы.

Символический статус «чужого», по мнению Слёзкина, «народу Книги» обеспечило, однако, то обстоятельство, что странническая судьба забросила его в колыбель прогресса и грядущего капитализма – в Европу. Автор нигде не ссылается на школу Анналов, но представить себе подобный поворот темы помимо её исследований, обративших внимание на ментальные, экономические и прочие цивилизационные процессы – вместо деяний правителей и восстаний народов – трудно. С этой точки зрения становится понятно, почему евреи – исконно грамотные, поневоле кочевые, причастные ресурсам лишь денег и образования – становятся двигателем и резервом капитализма. По меткому замечанию автора, «евреями» петровской Руси были немцы, приглашенные царём в качестве «других». «Русские немцы были для России тем, чем немецкие евреи для Германии». В этой системе координат даже метафора «евреи и протестанты» не выглядит нон-сенсом, ибо именно протестанты Макса Вебера открыли «чопорно-безрадостный и морально-безукоризненный способ быть евреями» и строить капитализм в Новом Свете.

2. Эра Меркурия

Русское издание книги Слёзкина, наступающее на пятки оригиналу, озаглавлено эвфемизмом: «Эра Меркурия. Евреи в современном мире» (НЛО, 2005). Ибо не только в позднесоветской, но и в постсоветской России, пережившей очередную «исход» реальных евреев, «еврейский вопрос» остался в числе «проклятых». Никто иной, как Солженицын, призвал евреев признать «моральную ответственность» и «коллективную вину» соучастия в Октябрьской революции и покаяться «за долю расстрелов... за свою долю в коллективизации... во всех мерзостях советского управления» (в чём, кстати, не покаяться и титульная нация). Слёзкин, не отягощенный российскими табу на все советское, приводит практические резоны «засилья евреев», высказанные первым большевистским комиссаром просвещения Луначарским: «...дело объясняется очень просто: нашу революцию сделало городское население, оно по преимуществу и заняло руководящее положение, среди него еврейство составляет значительный процент». Но не это житейское объяснение артикулирует автор и даже не то очевидное обстоятельство, что процент жертв не уступал проценту деятелей революции и террора среди евреев. Главное, что для них – комиссаров или напманов, чекистов или «врагов народа», учёных и деятелей искусства – этнический и религиозный признак не был, как нынче говорят, релевантным. Что бы – дурное или славное, с любой точки зрения, – они ни совершили, они совершали не как евреи. Ибо внутри потрясшей мир русской революции произошла, как показывает автор, еврейская революция, исход меркурианцев в аполлонийскую культуру, бунт против отцов (об одном из таких ранних бунтарей, Аврааме-Урии Ковнере, мне пришлось писать). Отдавшись стихии русского языка, культуры и истории, они влились в русскую, потом советскую интеллигенцию в качестве революционеров, «лишенцев», инженеров, врачей, учителей («служащих»), управленцев всех уровней и художников всех видов творчества, приняв понятие «интеллигенция» как символ веры и как судьбу. Нацизм и война принесли с собой то, что можно назвать вторичной «этнизацией» советских евреев. «Проклятый вопрос» возродился из пепла крематориев в виде пресловутого «пятого пункта».

Очередная российская революция принесла с собой кличку «русскоязычные». Слово не воробей: еврейские интеллигенты русского разлива и впрямь были усыновлены «великим и могучим»; они ответили ему такими именами, как Мандельштам, Пастернак, Бродский... Но вернемся к Слёзкину.

Четвёртая глава «Евреи и три Земли Обетованные» отслеживает параллельную (что является «know how» автора) историю трёх эмиграций в 20-м веке. В качестве приёма он выбирает сюжет Тевье-молочника и его дочерей, не раз инсценированный советским театром, а на Западе более известный по мюзиклу «Скрипач на крыше». Подобно тому, как американский мюзикл принаравливает Шолом-Алейхема к самосознанию эмиграции, так и автор книги переналаживает будущее дочерей Тевье для притчи о «трёх дорогах». Они призваны олицетворить тех, кто остался (Цейтл), а также эмигрировал из местечка в Америку (Бейлка), Палестину (Хава) и в СССР (Годл) – переезд из «черты оседлости» в Россию приравнивается к эмиграции. При этом верные местечку (таких тоже было немало) выступают у автора лишь в символическом значении жертв Холокоста. Зато драматические перипетии трех эмиграций в обстоятельствах «поистине жестокого» 20-го века занимают почти половину работы и являются книгой в книге.

3. На распутии трёх дорог...

...Размечая карту меркурианско-аполлонийских маршрутов бывших обитателей местечка, автор постулирует, что США «олицетворяли неприкрытое меркурианство», земля Израила – «безудержный аполлонизм», а советская Россия – «конец всех различий и окончательное слияние всего меркурианского и аполлонийского». При этом «Новым светом» казалась тогда вовсе не Америка, а Палестина и, более всего, СССР. «Три дороги» сделали евреев на некоторое время оселком истории. Как сказано, охватить огромную, фундированную работу Слэзкина на этих страницах невозможно, и я ограничусь замечаниями на полях. Революция действительно одним махом уравнивала в правах евреев (так же, как и женщин), и это в её «списке благодетелей» были козыри. Вопреки постсоветским стереотипам простой перелицовки истории наизнанку автор даёт себе труд привлечь во внимание дух эпохи «войн и революций» и вернуть эмигрантам в страну объявленного социализма его первоначальный «challenge». В аграрной стране им действительно сопутствовала «привилегия»: веками воспитанная тяга к образованию (теперь нечто подобное можно наблюдать в китайской диаспоре). Она перекрывалась то «непролетарско-некрестьянским», а то и прямо «буржуазным» происхождением, но чаще всего приводила всё же в ряды малоуважаемой «прослойки», как тогда именовали интеллигенцию. Из огромного спектра еврейского присутствия – от вождей-комиссаров-идеологов-чекистов, от наркомов и командиров пятилетки, а также беспартийных «спецов», аполитичных ученых, ИТР всех профессий, бессчётных учительниц и врачей до ушлых нэпманов и затаившихся «бывших» (вроде ювелирши, в квартиру которой вселился булгаковский Воланд) – из сажающих и сажаемых, награждаемых, расстреливаемых, трудящихся в поте лица и в лагерях – автор выбирает один извод: «очарованных странников». Дети Годл (которую автор самостийно наделил статусом «старой большевички»), «лобастые мальчики невиданной революции», пережившие своё «счастливое сталинское детство», боевую комсомольскую юность, Отечественную войну, зачисленные впоследствии в «безродные космополиты» и ставшие диссидентами, эмигрантами и авторами мемуаров, они «оглянулись во гневе» и осудили свои утраченные иллюзии, иначе – выбор Годл. Как правило, мемуары пишут люди «пассионарные». Лев Копелев и Рая Орлова, цитируемые автором, были моими дорогими друзьями, но у меня – по обстоятельствам жизни и характера – не было комсомольской юности с раскулачиваниями, чистками и прочим «списком преступлений», но не было и ГУЛАГа – и таких всё же большинство. Но что было общим для всего поколения детей Годл – это отсутствие национализма (тогдашнее весёлое слово «интернационализм» нынче звучит почти обценно). А также причастие Пушкина, к которому Слэзкин относится с особой язвительностью. Дискрепанс между врожденной этничностью и благоприобретенным языком и культурой, перед лицом которых советское прошлое оставило поколение детей Годл, каждый решает сам для себя. В пределе это и есть проблема ассимиляции.

Из сородичей, избравших в те поры наиболее консервативный путь в Америку, автор, верный себе, выделяет примерно тот же извод ангажированных политических активистов. «Самое замечательное в довоенной истории еврейских студентов в Советском Союзе и Соединенных Штатах состояло в том, что в то время, как советские вузы выращивали коммунистов, американские тоже выращивали коммунистов». Разумеется, доля пассионариев там и тут была существенно меньше доли рядовых строителей – как капитализма (который переживал эпоху кризисов и «гроздьев гнева»), так и социализма (который казался маяком). Но, действительно – история величия и падения «левой утопии» в присутствии и при участии СССР, а также евреев – одна из самых впечатляющих и драматических в 20-м веке. Судьбы ровесников и детей Бейлки она все же не исчерпывает. Сошлюсь для примера на книгу Neal Gabler «An Empire of Their Own. How the Jews Invented Hollywood». Она посвящена другому изводу – бедняков из Восточной Европы, неласково встреченных новой родиной, но, как истые меркурианцы, поспевших к колыбели бастарда высоких искусств – кино. Им выпало выпестовать не только новую индустрию, но – с помощью «гения студий» – собственную мечту об Америке, оказавшейся на поверку знаменитой American Dream. Чаще всего они были ярыми антикоммунистами. Зато их утопия, осуществлённая в целлулоиде, оказалась наименее разрушительной и наиболее терапевтической. Секрет их успеха, впрочем, изложен у Слэзкина, в его общей теории меркурианства.

Что касается Палестины, то «попытка создать «нормальное» еврейское государство, – пишет Слэзкин, – привела к созданию удивительно анахроничного исключения» – духа завязатого аполлонизма во времена повальной меркуризации. Действительно, задача стать «местными» для выходцев из диаспоры была не менее сложна, нежели нынешняя российская головоломка

перехода от социализма обратно к капитализму. Автора как всегда интересует судьба наиболее пассионарного извода – палестинских пионеров. Впрочем, ставши земледельцами и воинами, они сумели доказать, что почти первобытная коммуна в масштабах «киббуца» не вовсе утопия, и выиграть свои первые войны. Но понятно, что ситуация вечно «осажденной крепости» (на которую так любил ссылаться тов. Сталин на очередном витке репрессий) плохо способствует становлению меркурианского или более привычно, демократического и экономически развитого общества в краю «местных». Впрочем, если отвлечься от сегодняшних тревог текущей политики и заглянуть в человеческую мозаику Израиля, то надо будет признать, что жизнь ещё раз сделала судьбу евреев испытательным стендом для будущего человечества. Кто хоть раз был в Израиле и наблюдал, какую «смесь имен и лиц, племен, наречий, разговоров» представляет эта малогабаритная страна, где не размежуетесь ни на соединенные штаты, ни на республики – сабра и прочих – русских, немецких, украинских, грузинских, эфиопских, бухарских, китайских и прочих выходцев, тот невольно задаётся вопросом о будущем нашей ставшей небольшой и уязвимой планеты. Сумеет ли это человечество в миниатюре найти *modus vivendi* для потомков евреев, читающих слева направо и справа налево; для смотрящих Интернет, сидя на стуле и на ковре; для кошерных и нет; для белых, чёрных, жёлтых – по сути, людей разных рас, но одной «химической национальности», по Слёзкину? That is the question. («Гамлет»).

... Слёзкин заканчивает историю трёх эмиграций чем-то вроде эпилога и тут, странным образом, уподобляется им же описанным пророкам утопий. Итак, Цейтл и её дети, оставшиеся анонимными, погибли, обеспечив прочим статус жертвы, а нацизму – абсолютного зла. Дети Годл осудили свой путь и, тем самым, её выбор. «Еврейская революция кончилась вместе с русской». Дети Хавы (которая, впрочем, и не отправлялась в Палестину) ищут баланс между государственностью и этничностью. В выигрыше оказались американские наследники скромной Бейлки и сомнительного Педоцура. Но если киномагнаты практиковали свою этничность privately, дома, создав на вынос блеск и нищету Голливуда, то в нынешней меркурианской Америке этничность стала не только респектабельна, но престижна. «Национализм как таковой одержал победу над социализмом». Ладно бы, если бы на стр. 452 автор не употребил по тому же поводу слово «окончательно». Если бы речь шла о *Fin de siecle*, а не о своего рода «конце истории». Но конец истории в лучшем случае конец того, что данный автор под этим подразумевает.

Дело, разумеется, не в несостоятельном социализме советского образца, да и не в современном взрыве этничностей ввиду унификации образа жизни. Дело в том, что жизнь вообще не пишет эпилогов. Она видоизменяется: в Мальстреме глобализации и анти, демографических кризисов и бумов, необъявленного кочевничества народов, их сшибок и смешения, старых и новых способов военных действий. Книга едва успела появиться, но многое уже изменилось. Все ли и повсюду ли разделяют постулаты автора о жертве и абсолютном зле? Действительно ли нынче «для большинства людей в большинстве обществ «стремление к счастью» означает стремление к плодovitости и воспитанию детей»? Навсегда ли похоронена «великая левая утопия»? Поиски общей идеи (в пределе Бога)? Надежда на вневременной разум? Что день грядущий нам готовит?

...Впрочем, книгу с вызывающим названием автор и сам заканчивает вопросом вопросов Тевье-молочника: «Что такое еврей и нееврей? И зачем Бог создал евреев и неевреев?»...